

Н.И. Кузнецова

ПРЕЗЕНТИЗМ И АНТИКВАРИЗМ — ДВЕ КАРТИНЫ ПРОШЛОГО

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ историко-научных исследований редко привлекают внимание “серьезных”, профессиональных историков (имеется в виду прежде всего Большое Научное Сообщество гражданских историков). История науки и техники как особая сфера занятий по-прежнему ходит в одежках скромной падчерицы “настоящей истории”. Однако у нее, по-видимому, имеются все шансы отказаться от этой привычно незавидной роли и приобрести облик парвеню, дерзко претендующего на открытие новых горизонтов, способов видения и осмысления принципиальных проблем исторического исследования. Об этом свидетельствует, в частности, статья Бруно Латура “Когда вещи дают отпор: возможный вклад science studies в социальные науки”¹, где авторитетно заявлено, что новейшие исследования в области философии, социологии и истории науки и техники (STS — Science and Technology Studies) приносят сегодня наибольший вклад в понимание “социальности” вообще, в методологию социогуманитарных дисциплин. Вполне разделяя этот пафос в целом, мы хотели бы обратить внимание только на одну из таких “сквозных”, ключевых проблем гуманитарного познания, которая получила наиболее развернутое обсуждение именно в сообществе историков науки и техники.

В декабре 1973 г. была проведена первая из серии конференций Института истории естествознания и техники АН СССР (сегодня — ИИЕТ РАН), которая специально посвящалась проблемам методологии историко-научных исследований. Хотя помешанность на “правильном методе” в те времена была сильно идеологизирована, в данном случае произошло нечто непредвиденное. Та встреча в Обнинске оказалась праздничным, ярким событием в жизни советских историков и философов науки, воспоминания о которой до сих пор заставляют ностальгически вздыхать участников тех баталий. Незабываема атмосфера сво-

бодной и острой полемики, дружелюбного ехидства, которая тут же, немедленно отражалась на страницах оперативно (за ночь) выходящей стенной газеты “На вербалке”. Это была активная совместная попытка выбраться из стационарного русла устоявшихся категорий и методов как марксистской гносеологии, так и отечественной истории науки. В дальнейшем проводились периодические “посиделки” в академическом пансионате Звенигорода, где азарт интеллектуальных инноваций потихоньку был утрачен, хотя сохранилась вся “милота” доброжелательного профессионального общения.

Михаил Григорьевич Ярошевский (очень авторитетный психолог и историк психологии) выступил на первой конференции с докладом, где утверждал, что суть методологических затруднений историко-научных исследований заключается в антиномии двух подходов к изучению прошлого: антиквариизма и презентизма. Сторонники первого подхода ставят целью восстановить событие в его исторической подлинности и уникальности; сторонники второго — оценивают историческое событие науки только с точки зрения современного уровня научного знания, иначе говоря — с позиций современного учебника². Таким образом, впервые для историков науки была озвучена эта дилемма, и сами термины уже не обсуждались. Они сложились стихийно, и “все историки хорошо это знают”, — утверждал докладчик. Действительно, в гражданской истории часто возникают возражения против неоправданной “модернизации” прошлого, когда современный исследователь смело берется за истолкование деяний и событий далекого прошлого с “высоты” современной цивилизации.

Почти без возражений, “по умолчанию” было тогда всеми признано, что историки науки страшно грешат “модернизацией” прошлого, что этот грех надо мало-помалу преодолевать. Но как? Вопрос оставался открытым, но звал к поиску. В ИИЕТе начались, что называется, Игры Разума.

С того далекого года эта проблема обсуждалась неоднократно, более или менее систематически — на институтских семинарах, на страницах журнала “Вопросы истории естествознания и техники”, в ряде отдельных публикаций и монографиях³. Попробуем сегодня подвести некоторые итоги этим изысканиям.

“Что? где? когда?”

По сложившейся в 1960–1970-е годы традиции, которую так успешно поддерживала газета “На вербалке”, — *шутить всегда, шутить везде, до дней последних донца* — мы, фило-софствующие историки науки, окрестили традиционную сферу историко-научных исследований игрой, столь популярной на TV, — “что? где? когда?”. Таковы были вопросы, ответы на которые должен был дать активно работающий историк науки, позволяя потом блеснуть эрудицией игроку телевикторины. Чуть расширяя эту вопросительность, отметим, что, действительно, историко-научные суждения в конечном счете всегда содержат следующую информацию: *кто* и *когда*, а также *где*, *что-то* сделал (открыл, изобрел, получил такой-то результат). Бесспорно, что в целом составить подобный хронологический ряд нелегко, а для одиночки — неподъемно. Но на то и существуют профессионалы (в частности, сотрудники ИИЕТа), которые возьмется в архивах, читают тексты прошлых работ, вырабатывая после множества коллективных усилий четкие (желательно однозначные) ответы — такой-то там-то в таком-то году при таких-то обстоятельствах открыл, изобрел, доказал и т. п. Какие здесь могут возникать сомнения и неуверенности?

А теперь возьмем для примера несколько типичных историко-научных высказываний (в хронологическом порядке) и рассмотрим — что же в них может оказаться сомнительным?

“Около 500 г. до н. э. Фалес открыл явление магнетизма”;
«В 1269 г. появился трактат “Послание о магните Пьера де Марикур, по прозвищу Перегрин, к рыцарю Сигеру де Фукокур”»;

“В 1492 г. Христофор Колумб открыл Америку”;

«В 1660 г. Роберт Гук открыл “закон Гука”, который гласит, что напряжение пропорционально деформации»;

«В 1687 г. Исаак Ньютон опубликовал трактат “*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*”»;

“14 декабря 1900 г. Макс Планк предложил первый вариант теории квантов”.

Итак, везде налицо информация об имени персонажа (*кто?*) и дате полученного результата (*когда?*). Самое сложное — сформулировать, *что* же именно сделал данный исторический персонаж. Но если мы усомнимся в последнем (корректности наших суждений относительно результата), то тогда появится необходимость скорректировать и имя, и дату.

Возьмем простейшие случаи — информацию о том, что в некоем году появился такой-то трактат. В чем здесь-то проблема? Если речь идет о сочинении Петра Перегринуса “Послание о магните” (XIII в.), то здесь не совсем ясно, как распространялась эта рукопись, где находится оригинал и как появлялись копии, достоверна ли дата и т. п. — но это вопросы не столько историко-научные, сколько общеисторического характера. А вот вопросы относительно такого замечательного произведения, как сочинение Ньютона, с самого начала вызывают концептуальную полемику.

Прежде всего историк науки должен перевести заголовок оригинала. Это очевидно. В отечественный обиход книга вошла в переводе академика А.Н. Крылова, который перевел заголовок как “Математические начала натуральной философии”, но сам тут же (в сноске) заметил, что правильнее было бы — “*Математические основания физики*”. Я.Г. Дорфман считал, что более адекватный перевод — “*Математические основы естествознания*”. Александр Койре, указывая, что необходимо подчеркнуть неслыханную дерзость заголовка, предлагал свой вариант — “*Естественная философия начальной математики*”. Оказывается, что по такому простому вопросу до сих пор нет однозначного ответа, поэтому точнее всего выразиться неопределенно, приводя просто латинское словосочетание.

Полемика эта весьма остра и, как было сказано выше, концептуальна. А.Н. Крылов писал в Предисловии переводчика: “Я придерживался латинского текста издания 1871 г. и, переводя его сперва почти подстрочно, неоднократно перечитывал и исправлял этот перевод так, чтобы при точном сохранении не только смысла подлинника, но и самых слов автора, достигнуть правильности и гладкости русского языка и избежать употребления латинских слова, вроде: импульс, эффект, факт и т. п., которые от написания их русскими буквами не становятся русскими”⁴.

Однако теперь не избежать удивления и даже тревоги: в какой степени можно понять аргументы Ньютона, если не употреблять таких выражений, как импульс, факт, эффект?..

Позиция С.С. Аверинцева относительно задач переводчика была прямо противоположной. Вот его точка зрения: «Поучительно заметить, как по мере обострения научной совестливости все больше философских терминов оставляют без перевода. Когда-то пытались перевести даже “логос”, теперь начинают чувствовать, что и “психея” — не просто “душа”... “Нус” и “эйдос” довольно прочно обрели в нашем лексиконе права гражданства»⁵.

Нетрудно видеть, что речь здесь идет о допустимости или недопустимости так называемой модернизации в процедурах исторической реконструкции, которая начинается с работы переводчика текстов прошлых времен. Допустим ли перевод, который обращается к реалиям, понятным для нашего современника, но который игнорирует тот несомненный факт, что автор прошлого обращался к своим современникам и не мог обращаться к людям культуры далекого будущего? И потому *по мере обострения научной совестливости* мы стараемся отказаться от перевода, воспроизводя лексику прошлых времен.

Проблема перевода стара, и не только современный автор модернизирует тексты прошлого. А.Ф. Лосев упрекает в этом даже Платона. Обратим внимание на эти упреки, вдумаясь в них, ибо они ярко показывают, что философия античности кажется нам единой эпохой, каковой вовсе не была. «Всегда приписывали Гераклиту — со слов уже Платона (Кратил 402a) — изречение с переводом: “Все движется и ничто не стоит на месте”. Но, во-первых, это не есть выражение самого Гераклита, это — перевод Гераклита на отвлеченный платоновский язык. Если иметь в виду философский языковой стиль самого Гераклита, то употребляемые здесь Платоном термины так и нужно понимать по-гераклитовски, но не по-платоновски и не на манер поздних доксографов. Развернем словари и посмотрим, какие наиболее конкретные значения были в греческом языке для этой терминологии. Именно здесь и окажется, что *panta chorei* вовсе не обязательно значит “все движется”. Греческое *choreo* значит “уходить”, “идти”, “отступать”, “отправляться”, “уступать место

другому”, “распространяться”, а *menei* означает не только “стоит на месте”, но и “ожидает”. Спрашивается: почему из этих значений мы должны брать здесь отвлеченно-философское, т. е. брать чистую категорию пребывания, а не то конкретное значение, которое Гераклит только и мог находить в своей терминологии? Ясно, что значение “ожидает” гораздо более подходит к стилю Гераклита, чем “пребывает на месте”, “покоится”. Поэтому, если даже допустить, что Платон привел тут буквальное выражение Гераклита, то мы имеем изречение “Все распространяется или уступает место другому и ничто не ждет”»⁶.

Но самое трудное — это ответить на вопрос, *что* сделал интересующий нас исторический персонаж, в чем состояло его достижение. Само по себе это должно вызвать удивление: ведь речь идет о деятельности, которая характеризуется продуктом (результатом), а следовательно, на продукт, как говорится, можно указать пальцем, ибо он есть, он реален. На трактат, конечно, можно указать пальцем, а вот на его заголовок, как говорилось выше, — уже труднее. А если заглянуть в содержание, попытаться уяснить смысл текста — тогда для *совестливого* историка почва просто уходит из-под ног.

“Что это было?”

Начнем с древних. Как тут не вспомнить М.М. Бахтина, который писал: “Существовала школьная шутка: древние греки не знали о себе самого главного, они не знали, что они *древние* греки, и никогда себя так не называли. Но ведь и на самом деле, та дистанция во времени, которая превратила греков в *древних* греков, имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями в античности все новых и новых *смысловых* ценностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами и создали их”⁷.

Посмотрим же, как обстоит дело с Фалесом, который точно не знал, что он — древний грек. И, конечно, не ведал, что станет в наших глазах основателем учения об электромагнетизме.

«Мудрецу Фалесу, кроме свойства янтаря (“электрона”), было известно также и свойство магнита, — сообщает нам исто-

рик физики. — При этом, по свидетельству Аристотеля, он считал, что у магнита, так же как и у янтаря, существует душа»⁸. Свидетельство о взглядах Фалеса содержится в трактате Аристотеля, но не в “Физике”, как нам показалось бы естественным, а в трактате по психологии — “О душе”. Аристотель, конечно, плохой свидетель — он трудится на 200 лет позднее, чем Фалес, и приводит сведения лишь о том, что про Фалеса рассказывают, однако дело даже не в этом. Аристотель буквально сообщает следующее: “Фалес, по тому, что о нем рассказывается, считал душу за способную к движению, говоря, что магнит имеет душу, так как он притягивает железо (405a19)”.

Со своей стороны мы вправе озадаченно спросить: о чем же говорил сам Фалес — о свойствах души или магнита? Тот факт, что первые сведения о магнетизме приходят из психологии — довольно забавен, но существенен. Можно, конечно, сказать, что Фалес знал, что магнит притягивает железо (это верно), но не знал, как это объяснить (объяснял неправильно). А что тогда значит привычное слово — *знать*?

Классический марксизм никакой проблемы здесь не видел. Энгельс весьма бодро писал о познаниях древних времен и о прогрессе науки: “Эти различные ложные представления о природе, о существе самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. имеют по большей части лишь отрицательно-экономическую основу; низкое экономическое развитие предысторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все более и более становилась главной пружиной движущегося вперед познания природы, — все же было бы педантизмом искать для всех этих первобытных бессмыслиц экономических причин. История науки — это есть история постепенного устранения этой бессмыслицы или замены ее новой, но все же менее нелепой бессмыслицей”⁹. Что говорить — прогресс науки представлен забавно: замена одной бессмыслицы на другую, все же менее нелепую!

Но если речь идет о бессмыслице, свойственной представлениям прошлого, что тогда означает задача историко-научной ре-

конструкции? Для чего мы пытаемся реконструировать бессмыслицу?

Хрестоматийный и, можно сказать, модельный пример — вопрос о том, кто открыл Америку. Игрок на телевикторине не задумывается: этот герой цивилизованного человечества — Христофор Колумб и состоялось данное событие в 1492 г. Правда, говорят эрудиты, возможно, что первыми берегов Северной Америки достигли викинги еще в 1000 г., но все же именно Колумб первым проложил маршрут через Атлантику для всех европейцев. Некоторые эрудиты, впрочем, догадаются прибавить, что Колумб-де плыл “западным путем” в Индию и думал (неправильно), что туда-то он и прибыл. Однако все равно: для Европы именно он открыл Америку, и это достоверный факт. Только опять непонятно, как корректно зафиксировать это грандиозное открытие: ведь Колумб — не бессловесная щепка, которую бросают в поток воды, чтобы проверить, куда он ведет. Колумб — человек, он думал, принимал решения, проектировал маршруты, писал отчеты о своих открытиях. Историк науки должен рассказать о том, что именно сделал реально живший человек, а не кто-то другой.

Основной и нелегкий труд историков географии состоял в том, чтобы установить — где именно Колумб побывал. Это пришлось реконструировать по историческим источникам, но все маршруты более или менее теперь ясны. Кстати, об источниках! Во время четвертого путешествия сам Адмирал поручил брату Варфоломею составить карту своих новых открытий, и на ней вы собственными глазами видите, что экспедиция посетила ряд островов, которые расположены... в Юго-Восточной Азии, а континентальные берега (Южной Америки) рассматриваются как части Азии. Карта Варфоломея Колумба — тоже эмпирический факт¹⁰.

Неосознание новизны дорого обошлось Колумбу: Американский материк не стал “Колумбией”; европейцы искренне полагали (как и он сам), что мореплаватель побывал в некоторых, до толе неосвоенных краях Старого Света. Зато Америго Веспуччи, отнюдь не пионер этих путешествий, сумел сделать важнейший вывод: открытые за Атлантикой земли — не Азия. “Эти страны следует назвать Новым Светом. У наших предков о них не было

никакого представления”, — возвестил он публике. И этот вывод обессмертил его имя: среди всех частей света одна лишь Америка названа в честь реального человека!

Если речь зашла об именованных открытиях, вспомним и про “закон Гука”. Современный “Физический энциклопедический словарь” сообщает: “Закон Гука выражает линейную зависимость между напряжениями и малыми деформациями в упругой среде. В 1660 г. английский ученый Р. Гук обнаружил, что при растяжении стержня длиной l и площадью поперечного сечения S удлинение стержня Δl пропорционально растягивающей силе F , т. е. $\Delta l = kF$, где $k = l/ES$ (E — модуль Юнга)”¹¹. Приводится и более современное выражение “закона Гука”, с участием тензора напряжений! Однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: Гук не ведал приведенных выше слов и использованного математического аппарата. Это — язык современной науки, которая, правда, весьма уверенно заявляет, что Гук установил именно такой закон.

Историк науки, как мы помним, выражается более осторожно: «В 1660 г. Роберт Гук открыл “закон Гука”, который гласит, что напряжение пропорционально деформации». А при знакомстве с текстом Гука, выясняется, что он изучал свойства пружины растягиваться под действием различных гирек, а также подобным образом пытался растянуть и металлическую проволоку. Результаты измерений привели к выяснению следующей эмпирической закономерности: “*Ut tensio, sic vis*” (каково растяжение, такова и сила), а также “*Ut pondus, sic tensio*” (каков вес, таково растяжение). Даже такие неформализованные понятия, как “деформация” и “напряжение”, Гук не использует. Тем не менее Я.Г. Дорфман констатирует: «Этот закон, как известно, формулируют так: “Напряжение пропорционально деформации”, — что соответствует подлинным словам Гука: “Сила любой пружины пропорциональна ее растяжению”»¹². В каком смысле, спрашивается, — *соответствует*?! Так что же интересует историка науки — действия Гука или их интерпретация в контексте современных знаний?

Аналогичная ловушка содержится во фразе “14 декабря 1900 г. Макс Планк предложил первый вариант теории кван-

тов”. Хотя научная общественность довольно широко отметила юбилей данного события проведением конференций и симпозиумов в декабре 2000 г., а материалы одной из них были опубликованы в сборнике “100 лет квантовой теории”¹³, все же приходится признать, что сам Планк занимался отнюдь не построением новой квантовой теории. Его задача была другой, и свой результат он видел в решении острой тогда проблемы излучения абсолютно черного тела. Неужели у нас есть право просто обойти равнодушным молчанием этот факт, начисто проигнорировать мнение автора теории о том, *про что* его собственная теория?!

Закончим на время список этих примеров. Можно точно сказать: они абсолютно не единичны, скорее — это совершенно закономерное явление модернизации (осовременивания) научных результатов прошлого. Современная наука активно ассимилирует любые “ростки” знаний, когда бы они ни появлялись на белый свет — в доисторические или новейшие времена, и ее совершенно не интересует чисто исторический вопрос — *как оно на самом деле было?*

Но рано или поздно над последним вопросом задумались профессиональные историки науки. Далеко не сразу. Задумались, скорее, о том, что историки науки, вероятно, должны понять этот вопрос как-то иначе, чем гражданские историки. Все-таки события гражданской истории никак не могут “накапливаться”, а знание, поскольку в нем речь идет об истине, не могущей стареть, — постоянно растет и прибавляется в ходе научного прогресса. Тут есть проблема и для фундаментальной философской гносеологии, и для новейшей эпистемологии.

И все же если при ответе на вопрос “что?” возникает такая неопределенность, то как же ответишь на вопросы “кто?” где и когда?”. Успешно развивавшаяся телевикторина традиционного историко-научного исследования заходила в тупик.

Достаточно выразительно эту растерянность в среде профессионалов отметил Томас Кун: “В последние годы некоторым историкам науки становится все более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистраторов накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше про-

двигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на некоторые вопросы, например, о том, когда был открыт кислород или кто первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них усиливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и развитие науки — это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных открытий и изобретений¹⁴. Можно сказать, что именно Кун четко зафиксировал “антиисторический” стандарт традиционных историко-научных исследований.

Прибавлю, что для меня лично сама систематизация вышеприведенных примеров, понимание того, что проблема не единична и не курьезна, во многом связана со смелыми эскападами Вадима Львовича Рабиновича, который занимался тогда историей алхимии.

Открытие “иных” миров

В 1979 г. в издательстве “Наука” вышла книга В.Л. Рабиновича “Алхимия как феномен средневековой культуры”, которая для того времени была настоящим революционным манифестом против традиционного презентистского подхода к истории научного познания. Будучи кандидатом химических наук и принятый для работы в сектор истории химии, Вадим повел себя необычно: пожелал заниматься историей *лженауки* — алхимии. Как это вообще можно было стерпеть в рамках советских научных традиций? Алхимия считалась типичным примером *бессмыслицы*, концентрированным выражением *темноты* Средневековья. Рабинович показал во Введении, что с точки зрения современной химии алхимию можно трактовать (и действительно трактовали!) как “лжехимию”, как “предхимию”, как “химию” и как “сверххимию”. А понять надо алхимию! — вот основа задуманного им предприятия.

Он обрисовал историю различных толкований алхимии и, что особенно важно, показал, что все точки зрения так или иначе обоснованы. Однако среди них не было той единственной, ему нужной, которую он условно назвал “органической”, а я бы сегодня сказала — “контекстуальной”. Собственно, это отражено в

заголовке его книги. И эту задачу он решал вполне самостоятельно, тщательно ссылаясь на традиции, использованные “подсказки”, но, несомненно, претендуя на оригинальность своей собственной *сказки*, выражаясь более модно — своего *нарратива*.

Великолепная, пышная, красочная (с цветными вклейками, с цветной суперобложкой), веселая, буйная и — приключенческая книга! Такие книги и сегодня редки, а тогда была — супернеобычна для историко-научного, академического издания. Взрывной характер этого произведения был выражен даже в этой красочности — ведь задача автора повествовать о “темных веках”. Но главное — в манифестации нового подхода к выяснению смысла прошлого.

Допустим, вы — историк науки и перед вами текст, который относится к тому времени и предмету, который вы изучаете (химические познания Средневековья). Короче, вы должны проанализировать письменный исторический источник. Как это сделать? Какова ваша исследовательская стратегия? Думайте, отвечайте, выбирайте варианты! “Итак, без боязни вниз!” — воскликнет автор, цитируя “Иосифа и его братьев” и приглашая читателя соучаствовать в приключениях, которые предстают прежде всего как диалог культур — XX в. и XII—XVI вв.

Семь раз, не ленись и не жалея аскетичных по части бумаги советских издателей, воспроизвел Рабинович алхимический рецепт Джорджа Рипли (XV столетие). Воспроизведу его здесь — единожды. Вот он — “Текст de visu”:

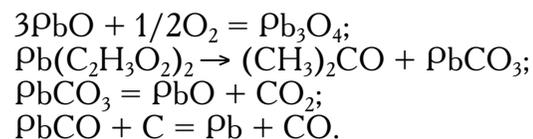
“Чтобы приготовить *эликсир мудрецов*, или *философский камень*, возьми, сын мой, *философской ртути* и накаливай, пока она не превратится в *зеленого льва*. После этого прокаливай сильнее, и она превратится в *красного льва*. *Дигерируй* этого *красного льва* на песчаной бане с *кислым виноградным спиртом*, выпари жидкость, и ртуть превратится в камедообразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной реторту и не спеша дистиллируй. Собери отдельно жидкости различной природы, которые появятся при этом. Ты получишь безвкусную *флегму*, *спирт* и *красные капли*. *Киммерийские тени* покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного *дракона*, потому что он

пожирает свой хвост. Возьми этого *черного дракона*, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет *зеленого льва*. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление *горючей воды и человеческой крови*»¹⁵.

«Что это?! — восклицает Рабинович. — Бессмысленное боротание мага и колдуна, шарлатана и мошенника, рассчитывающего на непосвященных, застывших в почтительном молчании перед таинственными заклинаниями и узорчатой речью чудодея; а может быть, “лженаучные” попытки отворить с помощью Слова алхимический Сезам; или, наконец, ритуальное стихотворение, произнесенное без практической цели и потому так и остающееся для нас, людей XX века, века неслыханного торжества химии, за семью печатями, неразгаданным и, по правде говоря, не очень-то зовущим расшифровать этот герметический код»¹⁶.

Далее показано, как к расшифровке этого рецепта подходил французский химик XIX в. Жан-Батист Андре Дюма. Переводить так переводить, расшифровать так расшифровать! Он без боязни пошел по пути рациональной реконструкции смысла данного текста, используя словарь алхимических терминов: *философская ртуть* — это свинец; *зеленый лев* — массикот (желтая окись свинца); *красный лев* — красный сурик, *горючая вода* — пригорелоуксусный спирт (ацетон) и тому подобное.

XX век позволяет — *совсем уж безбоязненно* — изобразить описанные химические превращения на своем формульном языке, привычном для читателя, который когда-то закончил среднюю школу. Опустим для краткости некоторые детали и представим конечный результат:



Лаконично, стройно, не правда ли? А главное — *как рационально!* Итак, алхимики знали превращения свинца, его окислов

и солей. Еще и поучительно: для историка химии здесь содержится указание на то, что Средневековье знало ацетон, а также на то, что под влиянием предвзятой идеи побочный продукт реакции был принят за основной... Одним словом, *уроки истории* представлены, усвоены, вписаны в реестр неуклонно накапливающихся химических знаний. Современный “Химический энциклопедический словарь”, пожалуй, уверенно представит на своих страницах эти формулы и заверит нас, что *именно это* делали и знали алхимики.

Рабинович констатирует: «Таково “буквально-химическое” прочтение алхимического текста. Обретена точность прописи. Точность же исторически неповторимого явления культуры осталась за пределами анализа, не познанной сторонним наблюдателем — человеком XX столетия. “Вчувствования”, “вживания” не произошло. “Дегерметизация” мышления не состоялась»¹⁷.

Действительно, где же — разноцветные *львы и драконы*, один из которых пожирает свой хвост? А киммерийские тени? Ведь киммеряне, по верованиям греков, — народ из страны вечного мрака на краю Океана, у входа в подземное царство. Можно ли “перевести” этот замечательный, сильный образ так прозаически, как предлагают химики, — в реторте, мол, просто остается черная масса, это — мелко раздробленный свинец? Разноцветный, метафорически-аллегорический, разноплановый мир Средневековья, можно сказать, растворился в лабораторной аппаратуре нынешней химической лаборатории. Это вызывает, как минимум, разочарование, как максимум, — активный протест.

И автор протестует: «Все это отброшено как никому не нужный антураж, отбросить который должно, дабы проступили на желтом пергаменте хотя бы эти не слишком мудреные формулы. Но и *львов*, и *драконов* жаль. Очень жаль. Без них нет алхимии. Без них и эта химическая модернизация тоже неверна. Живой источник — пересохший исток. Алхимический текст как источник по истории химических знаний при таком вот способе вычитывания в нем этих знаний оказывается ограниченным, хотя все-таки свидетельствует о химии, правда о какой-то иной, неведомой нынешним временам. Отфильтрован, отцежен “химический” экстракт. Иное — то есть, в сущности, все — отброшено

как бесполезное. Живой текст умерщвлен во имя химии — точнее, ее видимости.

Такого рода подход к отошедшим культурам, в том числе и к алхимии, не курьез. Он почти общепринят»¹⁸.

С моей точки зрения (и автор не возражал против такой интерпретации), мы видим здесь попытку обосновать насущную необходимость антикваристского подхода, попытку протестовать против презентизма как единственной методологии в истории науки.

Надо только подчеркнуть, что слово “антикваризм” не должно восприниматься как “архаизация прошлого”. Последнее не нравится Рабиновичу: “Модернизация и архаизация этого [средневекового] прошлого есть *memento mori* исторического первоуродства”¹⁹. И стремится предупредить, что выполняет свою работу не для “архаизации”, а для продуктивного диалога различных культур. Выразимся так: достоинство антикварной лавки в том, что предметы здесь подлинные и вы можете контактировать с ними — по собственному усмотрению.

И стало понятным, что именно культурной контекстуализации так не хватало нашей историко-научной парадигме. К новой работе традиционное сообщество не привыкло и с трудом принимало подобные изыски. Были и принципиальные возражения. Наука интуитивно казалась Единым Храмом, где каждый честный труженик вносит свою лепту в ее строительство. А тут получилось, что единого Храма нет, что в разные эпохи возникали разные постройки.

Открытие прошлого как *иного мира* — это понятно историкам, философам, гуманитариям. В истории научных идей подобное представление было вызывающим. Здесь можно вспомнить о том, как ожесточенно критиковали Куна за его настойчиво пропагандируемый антикумулятивизм. Только ленивый не сказал, что модель развития науки, представленная в “Структуре научных революций”, — никуда не годится. Прижизненная слава Куна, колоссальный “индекс цитируемости” его книги были связаны именно с этим.

А наш историк алхимии по этой части еще легко отделался, хотя, по сути дела, показал, что нет единой траектории, что в ис-

тории науки *иных* миров — много. Их и надо познавать как иные миры. Идея, согласитесь, — фундаментальная: *открытие множественности иных миров!* Если актуализировать сделанное Рабиновичем в новомодном гуманитарном дискурсе, можно сказать, что Вадим принес идеологию *мультикультурализма* в сферу историко-научных исследований, а это тоже немаловажное расширение методологических горизонтов.

Что может антикваризм?

Конечно, в сфере методологической у В.Л. Рабиновича предшественники были — еще какие!

Алексей Федорович Лосев, например, писал о “горе-излагателях” Гераклита следующее: “Мировая популярность Гераклита, несомненно, послужила ему во вред. О Гераклите считали нужным высказаться почти все философы, навязывая ему то, что было в их собственном кругозоре. Его объявляли эмпириком и сенсуалистом, рационалистом и почти картезианцем, метафизиком-дуалистом и строжайшим монистом, он был и метафизиком, и кантианцем, и диалектиком, и мистиком, и материалистом. При этом упускали из виду, что учение Гераклита является глубоко своеобразным, совершенно непохожим на новоевропейскую философию; и было бы бесцельным занятием присоединять к уже существующим бесчисленным ярлыкам для Гераклита еще один новый”²⁰. Интересно, что Алексей Федорович оговаривается (в сноске): “Написать историю разных пониманий Гераклита является настоящей и увлекательной задачей. Подготовительными работами к такой истории гераклитизма являются...” — и далее перечисление соответствующих работ.

Естественно, что антикваристский подход, сторонником которого, с моей точки зрения, является и Лосев, опирается на идею “вчувствования”. Как иначе можно представить иную эпоху, иную культуру, иное мышление? Но это занятие — архитрудное, да и непонятно как реализуемое. Совершенно нормально, что подобный подход имеет небольшое количество энтузиастов.

Вдумаемся, например, как Лосев говорит о возможности понимания эстетики Гераклита: “Философско-эстетический стиль

Гераклита совмещает в себе точку зрения философии, субстанционально-демоническую реализацию мифологии, логически-аналитические наблюдения науки. Вместе с тем здесь широко используются образы поэзии. Этот стиль — специфический, и описать его в терминах новоевропейской философии невозможно. Попробуйте представить себе, что перед вами вещь, которая есть одновременно и отвлеченная идея, и мифическое существо, и физическое тело. Если вам это удастся, то вы поймете гераклитов огонь, логос, войну, лиру, лук, играющего ребенка. В таком случае станет ясно, что бесполезно приписывать Гераклиту те или иные новоевропейские философские ярлыки. *У нас просто нет таких терминов, чтобы можно было ими изобразить существо гераклитовской эстетической философии*²¹.

Действительно, методология “вчувствования” предполагает игру фантазии, воображения — “попробуйте представить себе...”, вот и весь совет. Тут же — то ли ирония, то ли грозное предупреждение: “если вам это удастся...” Неопределенность таких инструкций, отсутствие правил реконструкции — главное препятствие для реализации “антикваризма”. Но как важно само по себе это открытие *Иного мира* — античного, средневекового, гераклитова или алхимического, любого.

Стоит еще раз напомнить, что *на самом деле* (т. е. с моей точки зрения) уже написанная история науки — весьма проблематична. Ее нарратив по преимуществу — презентистский. Если же задуматься, как осуществить какой-то другой подход, то попадаешь почти в агностицизм. Судите сами — вот как откровенно, искренне писал французский химик и микробиолог XIX в. Эмиль Дюкло: “Мы убеждаемся, насколько фантастична мысль об истории научных идей. Для того чтобы понять прошедшее какого-нибудь вопроса, надо искусственно настроить свой ум, предать забвению некоторые идеи, которые считаются важными, выдвинуть на первый план другие, заведомо ошибочные, говоря коротко — надо изменить состояние своего ума, а это невозможно”²².

Невозможно!? Но ведь мы уже понимаем, что разноцветные львы и драконы, а также киммерийские тени, — *не бессмыслица*. Мы уже понимаем, что Колумб мог побывать в “Западной Ин-

дии”, хотя таковой нет на современном глобусе. Только не отбрасывать подобное, *несусветное*, как никому не нужный антураж, а сделать его предметом внимательного анализа.

Вот, скажем, еще один поучительный пример “иного мира” в истории познания, введенный в широкий методологический оборот М.А. Розовым. Академик П.И. Вальден в своей работе по истории теории растворов рассказывает о представлениях XIV в. следующее: «“Вода”, как обозначение всего жидкого, растворенного, и “превращение” веществ в “воду” становится основным понятием. С этим значением растворения для всех химических изменений мы будем постоянно встречаться... Так, например, алхимик Nicolaus Flamel (род. в 1330 г.) говорит: “первое слово философов это то, что они называли растворением и что составляет основу искусства...”, “растворение не есть поглощение их водой, а переход или изменение тел в воду, из которой они были первоначально созданы”»²³.

Теперь зададимся вопросом: могли ли знать алхимики того периода, что поваренная соль растворима в воде? Какой детский вопрос! Ведь пищу (супы) подсаливали и в те времена. Не торопись с ответом, современник! — говорит Розов. Ведь с точки зрения представлений того времени, поваренная соль — это просто минерал, вода — обозначение всего жидкого, особое агрегатное состояние вещества, а растворение — “переход или изменение тел в воду”.

Таким образом, поваренная соль как NaCl, вода как H₂O и раствор как однородная смесь переменного состава двух или большего числа веществ — это *знания нашей культуры*, а та, прошлая эпоха, *знала* совсем другое, хотя и подсаливала супы, подобно тому, как это делаем мы. Это, казалось бы, просто, но требует изменений не только методологии исторической реконструкции, но и смены представлений о том, что есть знание, т. е. эпистемологических представлений. *Иные миры есть и в знаниях* — вот каков должен быть следующий шаг в эволюции наших представлений об элементарных фактах истории научных идей. Одним словом, нам, историкам науки, идти еще и идти, пытаюсь осмыслить, что мы все делаем, отвечая на простенькие вопросы — “что? где? когда?”. Метафизическая глубина этих вопросов да-

леко не исчерпана, она только-только приоткрылась. Удивляться тому не приходится, ибо, как сказано Томасом Манном: “Прошлое — это колодезь глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?”, и оно-то “делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми”²⁴.

Реконструкция прошлого как иного мира, отличного от современного, перерастает в проблему, крайне сложную для решения, проблему, на которой как раз и проверяется мастерство подлинного историка. Проблематизация привычного ремесла и шлифовка мастерства историка науки — вот задача, которая продолжает быть актуальной.

Но презентизм настойчив — почти до скандала. Характерно, что по прошествии времени, после такого единодушного покаяния большинства историков науки в грехе “модернизации”, энтузиазм методологической перестройки сошел на нет. Опять утвердилось мнение, что выхода нет: мы, люди современной культуры, ничего другого, как изложить достижения прошлого на языке современной науки, просто не можем. Вот еще один характерный пример²⁵: перед нами работа одного из лучших отечественных историков биологии “Проблемы морфологии животных. Исторические очерки” Леонида Яковлевича Бляхера.

В определенном смысле парадоксально уже начало данной монографии. Автор признает, что “современное дифференцированное определение этих понятий (т. е. формы и функции. — Н.К.) откристаллизовалось лишь в результате многовекового изучения органического мира”²⁶, но сам тут же дает это современное определение и начинает анализировать в этом свете авторов далекого прошлого — от Платона и Аристотеля.

Фактически это означает, что историк науки начинает “экзаменовать” ученых прошлого, задавая им вопросы на современном языке, вопросы, которые они сами никогда не ставили и не могли поставить. История науки превращается в экзамен, а историк — в экзаменатора. Правда, его задача не только в постановке вопросов, но и в том, чтобы, опираясь на конкретные тексты, найти ответ. Найти надо нечто несуществующее, ибо ни ответствующего вопроса, ни ответа в изучаемую эпоху вообще не

было. Подлинная задача, вероятно, должна была бы состоять в том, чтобы реконструировать реальный вопрос, понять, о каком именно “предмете” идет речь в текстах прошлого, но это означало бы коренное изменение всей методики работы.

При этом серьезный историк науки и сам в какой-то степени может осознавать парадоксальность своей методологии. Так, Л.Я. Бляхер пишет далее о полемике Кювье и Жоффруа Сент-Илера следующее: “Основой противопоставления теоретических воззрений Кювье и Жоффруа Сент-Илера не может служить различие их взглядов на соотношение формы и функции. Вопрос об этом соотношении, поставленный еще в древности, превратился в требующую разрешения дилемму — примат функции или примат формы — только в связи с изучением закономерностей индивидуального и особенно филогенетического развития организмов. Эмбриологией Кювье не занимался, а исторического развития органического мира не признавал. Поэтому для него вопрос о первичности функций или первичности формы не является проблемой, нуждающейся в решении”²⁷. Оценка совершенно справедливая, если не обратить внимания на забавный парадокс: вопрос поставлен в древности, а решение потребовалось гораздо позднее...

Суть, однако, в другом. Удивительно, что после такой характеристики научной деятельности Кювье историк все же осмеливается задать вопрос: что же думал этот великий биолог XIX в. о примате функции или формы? И приходит к удивительной с методологической точки зрения оценке: “Телеологическая форма, в которую Кювье часто облачал свои суждения о жизнедеятельности и строении животных, свидетельствует о том, что естествоиспытатели начала XIX в. не умели найти более подходящего выражения для брезжившей в их умах идеи единства формы и функции”²⁸. С таким же успехом можно сказать, что Птолемей не сумел найти “подходящего выражения” для “брезживших в его уме” законов Кеплера!..

Да, парадоксально, но факт. Презентизм, характерный для истории науки, буквально обрекает на такую причудливую форму “допроса” исторических деятелей прошлого.

Каков же выход?

Здесь следует вспомнить классика истории идей — Роберта Джорджа Коллингвуда, который посвятил немало сил для того, чтобы показать, сколь непродуктивна презентистская позиция в понимании мышления прошлых эпох. Объясняя свои взгляды, Коллингвуд писал: “Вы никогда не сможете узнать смысл сказанного человеком с помощью простого изучения устных или письменных высказываний, им сделанных, даже если он писал или говорил, полностью владея языком и с совершенно честными намерениями. Чтобы найти этот смысл, мы должны также знать, каков был вопрос (вопрос, возникший в его собственном сознании и, по его предположению, в нашем), на который написанное или сказанное им должно послужить ответом”²⁹.

Трудность историка состоит в том, что “вопрос” коренится в историческом прошлом, которое нам не дано, а “ответ” — перед нами, теперь и сейчас. «Если кто-то писал в отдаленном прошлом, то обычно очень трудно решить эту проблему, ибо писатели, во всяком случае хорошие писатели, всегда пишут для своих современников, особенно для тех, кто “вероятно, будет в этом заинтересован”. Последнее же означает, что современники задают тот же самый вопрос, на который пытается ответить автор. Позднее, когда он станет “классиком”, а его современники давным-давно умрут, этот вопрос будет забыт, в особенности если ответ на него всеми был признан правильным, ибо в таком случае люди перестали задавать его и стали думать над следующим. Поэтому вопрос, заданный оригинальным писателем, можно реконструировать лишь исторически, что нередко требует большого искусства историка»³⁰.

Коллингвуд утверждал, что формула Леополяда Ранке “историк должен восстановить, как на самом деле было”, не объясняет самой главной трудности в работе историка науки. Когда речь идет об интеллектуальных действиях (идеях, теориях, проблемах), нужно еще понять, “что это было”, каково содержание данного интеллектуального действия. Один из важнейших его советов — обязательная реконструкция вопросов, которые в иные времена были вовсе не похожи на те, которые волнуют нас самих.

Действительно, иногда говорят, что историк науки прекрасно знает, что совершили Фалес, Аристотель, Галилей, Ньютон...

Ведь их книги зафиксировали полученные ими результаты. Дело заключается в том, чтобы восстановить, как они к этим результатам пришли. Однако историк науки, как мы стремились показать выше, вовсе не имеет однозначного ответа на вопрос, в чем, собственно, эти результаты состояли и какие именно проблемы решали авторы прошлого.

Чтобы понять содержание исторически конкретного действия, мысли или теории, нужно восстановить интеллектуальный контекст, т. е. реконструировать проблему, вопросы, для ответа на которые создавались данные теории: «Если есть некая вечная проблема P , то мы вправе спросить себя, что Кант, Лейбниц или Беркли думали о P . Если мы способны ответить на этот вопрос, то можно перейти к следующему: “Были ли Кант, Лейбниц или Беркли правы, решая проблему P таким образом?” Но то, что считается вечной проблемой P , на самом деле представляет собою серию преходящих проблем P_1, P_2, P_3, \dots — проблем, специфические особенности которых затуманились в глазах исторически близорукого человека, который сгреб их в одну кучу под общим названием P . Отсюда следует, что мы не можем выудить проблему P из внеисторической коробки фокусника, поднять ее и спросить: “А что такой-то думал по такому-то поводу?” Мы должны начать так, как делают скромные труженики, историки, с другого конца. Мы обязаны исследовать документы и истолковать их. Мы должны сказать себе: “Вот перед нами отрывок из Лейбница. О чем он? Какой вопрос здесь решается?...”»³¹.

Коллингвуд показывает, что древнегреческое слово “полис” нельзя однозначно перевести на современный язык как “государство”, а следовательно, нельзя сказать, что размышления Платона в его труде “Государство” и размышления английского философа Гоббса о “Левиафане” касались одного и того же предмета. Равным образом древнегреческое слово “деи” нельзя без серьезных оговорок перевести как “должен”, и поэтому этические теории у греков и у Канта — это теории о разных вещах.

Приводя множество примеров подобного рода и предостерегая от простодушия, с которым зачастую переводятся термины и выражения прошлого на современный язык, безо всякой попытки учесть историческую конкретность значения слов, Кол-

лингвуд рисует всю парадоксальность ситуации на остроумном примере:

«Все это напоминает кошмарную историю с человеком, которому пришло в голову, что слово “триера” — греческий эквивалент слова “пароход”. А когда ему указали, что описанные греческими авторами триеры не очень похожи на пароходы, он торжественно воскликнул: “А я что говорил! Эти греческие философы... были ужасными путаниками, и их теория пароходов никуда не годится!” Если бы вы попытались объяснить ему, что “триера” вообще означает не пароход, а что-то совсем иное, он бы ответил: “Тогда что же оно значит?” И за десять минут показал вам, что вы этого не знаете. В самом деле, вы не можете изобразить триеру, изготовить ее модель или даже объяснить, как она действует. И уничтожив вас, он бы потом всю жизнь переводил “триера” как “пароход”»³².

Коллингвуд считал борьбу с презентистской установкой в исторических исследованиях настолько важной, что посвятил ей достаточно объемную книгу. И это была “Автобиография”!

Действительно, надо со всей определенностью подчеркнуть, что обращенность историка на современность может действовать роковым образом не только на истолкование содержания отдельного текста, но и на понимание всей суммы условий действий героя прошлого. Необходимо специально исследовать вопрос о той конкретной мотивации, которая характеризует и ведет интересующего нас деятеля, надо понять, в частности, что тайны Вселенной открывались людям, ищущим в природе воплощение Божественного Замысла (что трудно бывает понять современному атеисту), что научные революции порой совершались людьми, отнюдь не бунтарями по природе, что люди прошлого действовали в рамках таких представлений о мире, которые нигде специально не назывались и не описывались, а представляли менталитет соответствующей эпохи. Все это многократно увеличивает сложности историко-научной реконструкции.

Но все вышеприведенные аргументы встречали отпор у классических историков науки. Презентизм не сдавался, переходил в открытую атаку и требовал антикваристов “к барьеру”! Видный историк математики С.С. Демидов в своей полемической статье

писал: «Дело в том, что погружение в контекст потребовало бы от нас полного отрешения от “лишних” знаний, приобретенных еще в школе, ибо такие знания, помимо нашей воли, в значительной мере предопределяют наше понимание предмета. Если уж из школьного обучения постигнуто, как считаются площади фигур с использованием интегрального исчисления, то это знание будет невольно предопределять и понимание соответствующих мест у Евклида. Так что для чистоты антикваристских риз к изучению “Начал” следует допускать людей, никогда не учившихся в школе математике... Самый, на мой взгляд, большой грех последовательного антикваристского подхода в его принципиальной неисторичности. Погрузить источник в современный ему контекст — это значит описать его содержание на языке современных ему теорий, в рамках бытовавших тогда представлений, без использования языка более поздней (в том числе современной) науки. В идеале это под силу лишь субъекту, воспитанному в искусственной среде: не знакомому с нашим понятийным аппаратом, целиком погруженному в контекст изучаемого источника, т. е. выключенному из нашего сегодняшнего мира»³³. Одним словом, отказаться от презентизма — значит вообще ничего не говорить, загадочно молчать, мистически или спиритуалистически пребывая в *ином мире*.

Принцип дополнительности в историко-научных исследованиях

Так где же выход? — повторим вопрос. Ведь все методологические штудии бесполезны, хотя порой безумно остроумны, если нет попытки дать четкий рецепт, как действовать.

Корень проблемы истолкования текста прошлого состоит в том, что ни отдельно взятое слово устной или письменной речи, ни отдельное предложение, ни даже относительно замкнутое сообщение не обладают значением и смыслом как своими атрибутивными характеристиками. “Выражение (слово) имеет значение лишь в потоке жизни”, — настойчиво объяснял всем желающим Людвиг Витгенштейн. Значение и смысл текста порождаются его употреблением, т. е. контекстом его чтения и восприятия.

Проблема перевода — сквозная проблема гуманитарных наук. В той или иной степени с ней знакомы все гуманитарии. Знаменитый американский логик Ван Орман Квайн в своей книге “Слово и объект” показывает, что строгий перевод даже такого простого туземного слова, как “gavagai”, на европейский язык практически невозможен. Сказал ли туземец просто “Кролик!” или — “Смотри-ка, кролик!” или — “Бегущий кролик” или — “Белое, быстро бегущее животное?..” Это сегодня хорошо известно не только опытному переводчику, но и мало-мальски образованному этнографу, антропологу, культурологу. Слово, произносимое в контексте одного мировосприятия и имеющее значение именно в этом контексте, должно быть включено в контекст совершенно другого универсума языка и деятельности, и это неизбежно порождает проблему искажения, точнее — проблему модернизации сказанного, проблему, которую Квайн назвал проблемой референциальной неопределенности. Он выдвинул тезис о принципиальной “неопределенности” перевода, особенно в некоторых крайних ситуациях — когда, скажем, два народа не имели вообще никаких контактов вплоть до настоящего момента коммуникации (ситуация “радикального перевода”).

Историк науки легко опознает свои трудности в этих логико-лингвистических изысканиях. Действительно, историк не может вступить в прямой контакт с прошлым, и “поток жизни”, в котором выступает значение и смысл сказанного и в котором непосредственно живет историк, глубоко отличен от “потока жизни”, в котором творил и создавал свои работы ученый прошлого. Как носитель современной культуры историк науки сталкивается с необходимостью описать деяния Колумба или Фалеса, Ломоносова или Галилея, которые были осуществлены в рамках иного универсума культуры, в условиях, когда уже нет и не может быть никакой актуальной коммуникации.

В конечном счете пришлось вспомнить о методологическом опыте, накопленном физиками при изучении квантово-механических явлений. Речь идет прежде всего о принципе дополнительности. И, верно, великий физик Нильс Бор был первым, кто указал на необходимость использовать принцип дополнительности в области гуманитарных исследований. Он прозорливо ут-

верждал: “При изучении культур, отличных от нашей собственной, мы имеем дело с особой проблемой наблюдения, которая обнаруживает много признаков, общих с атомными или психологическими проблемами”³⁴.

Историк науки — носитель современной культуры, ее языка, современных научных идей, концепций, представлений. Это аксиома. Нормальный историк науки придерживается “умеренного” презентизма, отстаивая неизбежность своей “современности”, но пытается избежать крайностей, мастерски изобретая всяческие оговорки. Говорить, что “Колумб открыл Америку” или “Фалес знал явление магнетизма”, “алхимики знали превращения свинца и его окислов”, — это, конечно, модернизация, но полностью отказаться от нее просто невозможно.

А вот если мы попытаемся “уточнить” презентистское описание прошлого, выражаясь примерно так: “Колумб воспринимал Америку как Западную Индию” или “Устье Ориноко представлялось Колумбу воротами Рая”, то это на самом деле мало помогает желанию познать прошлое в его конкретности. Попытки сформулировать содержание действия, преодолевая грубость очевидной модернизации, ничуть не уменьшают трудностей. А вот осознание, что в данной ситуации действует принцип дополнительности, позволяет уточнить технологию историко-научного анализа. Нет, речь не идет просто о “дополнении” одного подхода другим. Подчеркнем, что речь идет не о том, чтобы одно описание (презентистское) было приплюсовано к другому (антикваристскому). Дополнительность в бытовом смысле слова (одно дополняет другое) — это не то, что имел в виду Бор, говоря о необходимости использовать опыт новейшей физики для решения гуманитарных проблем.

Чем же конкретно помогает квантовая механика в данной ситуации?

Как известно, принцип дополнительности сформулировал Нильс Бор, стремясь подчеркнуть важнейшее содержание соотношения неопределенностей, которое было установлено Вернером Гейзенбергом. У микрообъекта есть такие характеристики, которые нельзя одновременно точно определить. Можно, скажем, измерить импульс электрона или его координату, но нельзя

одновременно точно измерить обе эти величины. Иными словами, точно устанавливая положение электрона, физик ничего не может сказать о значении его импульса, и наоборот. Бор отвечал на вопрос, почему это так. Суть в том, что в квантовой механике не существует понятия траектории микрочастицы. Бессмысленно говорить, что электрон сам по себе находится там-то или имеет такую-то скорость. Эти динамические характеристики возникают *только при взаимодействии частицы с макроприбором*. Одни приборные установки порождают такую характеристику электрона, как импульс, другие — координату. И дело не в ограниченности наших познавательных возможностей, а в объективной неопределенности самих этих характеристик. Это было трудным опытом квантовой физики, поскольку, согласно здравому смыслу, характеристики объекта ему *присущи*, а не *порождаются* в процессе взаимодействия с приборами.

В свою очередь, сложность познавательной ситуации гуманитарного познания, включая и историю науки, связана с тем, что исследователь выступает как своеобразный прибор, не столько “проявляя” интересующие его содержательные характеристики текста, сколько впервые “порождая” их своим пониманием. Сегодня с этим гуманитарии смогут легче примириться, так как с разных сторон лингвисты и литературоведы пришли к выводу о том, что смысл текста не столько “содержится” в нем, сколько порождается самим чтением и искусством читателя. Да, теперь вполне серьезно говорится о “сотворчестве” читателя, о так называемом “интерпретационном сотрудничестве адресата”.

Умберто Эко пишет об этих проблемах так, как будто неоднократно сидел в конференц-зале Института истории естествознания и техники, где обычно проходили наши методологические дебаты. «Сообщение может порождаться и восприниматься в различных социокультурных обстоятельствах (так что коды адресата могут отличаться от кодов отправителя), адресат может проявлять различного рода “встречные инициативы”, иметь свои исходные предположения (пресуппозиции), строить свои собственные объяснительные гипотезы (абдукции) — и в силу этого сообщение (в той мере, в какой оно воспринимается адресатом и превращается в *содержание* некоего *выражения*) стано-

вится не более чем пустой формой, в которую могут быть вложены различные смыслы. Более того: то, что называется “сообщением”, обычно представляет собой некий *текст*, т. е. целый комплекс различных сообщений, закодированных различными кодами и функционирующих на различных уровнях означивания (signification)»³⁵.

Как жаль, что слова эти не прозвучали вживую и не породили очередную сумятицу в нашей привычной рациональности! Но тогда и теперь они должны восприниматься как некое освобождение от груза “единственной семантики” анализируемых историком науки текстов прошлого.

Итак, подведем итоги. Если в квантовой физике соотношение неопределенностей, по Гейзенбергу, связано со взаимодействием макроприбора с микромиром элементарных частиц, то в историко-научном исследовании возникает ситуация “референциальной неопределенности” (по Квайну) в связи с тем, что исследователь, живущий и работающий в рамках нормативной системы *S* (современности), должен описать акт деятельности, совершенный в нормативной системе *P* (прошлого). Благодаря историке науки, происходит, если так можно выразиться, взаимодействие *S* и *P*, которое порождает те трудности перевода и понимания прошлого, о которых говорилось выше.

Каким образом мы можем теперь уточнить действия историка науки? Бесспорно и неминуемо, что когда надо ответить на вопрос, что *делал* Колумб, мы в сущности не имеем другого варианта, как только указать кончиком карандаша его путь от Канарских островов до Карибского моря, нарисовать на современном глобусе его путь и поговорить о том, что все это значило для развития нынешней цивилизации. Однако когда нас спрашивают, что *делал* Колумб, мы будем говорить об истоках его сносшибательного проекта, его идейных предшественниках, о его ментальности, об искусстве навигации XV в. и тому подобное. Мы должны контролировать себя и не “сливать в один флакон” то, что можно точно установить в одном подходе, а затем — в другом подходе.

Таким образом, необходимо, во-первых, описать социальные эстафеты, традиции и культурные образцы, в рамках которых

действовал интересующий нас герой прошлого. Во-вторых, нужно зафиксировать содержание действия (акта мысли), а это можно сделать только на современной “карте” познания.

Если принять всерьез требование принципа дополнительности по Бору, антикваризм должен отказаться от притязаний сформулировать содержание прошлой деятельности и ограничить свои задачи реконструкцией реально действующих в прошлом социальных эстафет и традиций. Содержание акта прошлой деятельности формулируется в свете современного языка, что является задачей презентизма, однако это описание, по сути дела, ассимилирует прошлое, переводя его в ткань современной культуры.

Объяснение и понимание прошлого

И еще одно — крайне важное соображение, позволяющее плодотворно “перекодировать” давнюю методологическую проблему.

На первый взгляд казалось, что антикваризм осуществляет “понимающий подход”, позволяя нам чудесным образом переместиться в историческом времени, заглянуть в прошлую эпоху, вжиться, вчувствоваться в нее. Презентизм, напротив, способен кое-что “объяснить” — почему, скажем, та или иная химическая реакция приводила к получению важного для алхимика продукта. “Понимание” и “объяснение” — оба важны, но являются результатом реализации разных подходов.

Однако выяснилось, что ситуация обратная: именно презентизм, ассимилируя прошлое, понимает его; антикваризм, позволяя взглянуть в контекст прошлого, объясняет, что делали герои прошлых эпох. Понимающий и объясняющий подходы в гуманитарных науках дополнительные в смысле Бора. Эту проблему наиболее глубоко и методично анализировал в своих работах М.А. Розов. Рассмотрим кратко его аргументы.

Прежде всего в свете принципа дополнительности необходимо отказаться от желания совместить два описания (понимающее и объясняющее) в рамках единой синтетической картины. Он писал: «Изучая исторические традиции, историк должен по-

нимать, что в его руках как бы два класса приборов. К первому относятся сами участники традиции, которые ее порождают. Описание механизма традиции — это и есть описание поведения, т. е. “показаний” этих приборов, описание их взаимодействий с традицией. Ко второму классу относимся мы сами, когда пытаемся вербализовать и эксплицировать то содержание, которое транслировалось в этих традициях. Приборы первого типа, демонстрируя механизм, не определяют содержания; прибор, представленный в лице самого историка, порождает содержание, не соответствующее механизму. Мы имеем две дополнительные картины исторического процесса. Одна из них может претендовать на подлинность, но, увы, подобна немому кино. Другая озвучена на понятном нам языке, но, как сказал поэт, “мысль изреченная есть ложь”. Историк, разумеется, нуждается в обеих картинах, но их нельзя просто объединить друг с другом как описание одной и другой сторон медали. Каждая картина полна и, будучи дорисована до конца, в принципе исключает другую»³⁶.

Поясняя сказанное, автор приводит следующий пример. Допустим, в тексте встречается английская поговорка “Mad as a hatter”. Как русскоязычному субъекту понять смысл поговорки, если в контексте нашей культуры шляпник никак не ассоциируется с безумием? Переводчик старается пояснить, что это значит, раскрывая истоки такого словоупотребления. Когда-то английский шляпник при обработке фетра пользовался ртутью, и это зачастую вызывало отравление, которое могло сопровождаться судорогами, затруднением речи и т. п. Увы, безумие такого рода было особенностью профессии.

Таким образом, переводчики могут объяснить происхождение поговорки, но вовсе не способны указать на правила ее использования в современной речи. В такой же степени русский человек уверенно использует выражение “бить баклуши”, хотя чаще всего совершенно не подозревает, что такое “баклуши” и почему возникла такая поговорка. Из этого следует, что комментатор описал не содержание, не понимание поговорки, а нечто другое — возникновение традиции словоупотребления. В этом плане он действовал как антикварист. Актуализация поговорки в контексте современной культуры — это презентизм, т. е. описание содержания

поговорки, указание на то, каков ее сегодняшний смысл. Необходимо и то и другое, но без выстраивания единой картинки³⁷.

Конечный вывод гласит: дилемма презентизма и антикваризма — это частный случай традиционного для гуманитарной науки противопоставления понимания и объяснения. Об этом противопоставлении совершенно ясно говорил М.М. Бахтин, обращаясь к проблемам литературоведения: “Литературовед спорит (полемизирует) с автором или героем и одновременно объясняет его как сплошь каузально детерминированного (социально, психологически, биологически). Обе точки зрения оправданны, но в определенных, методологически осознанных границах и без смешения”³⁸.

Правда, интуитивно казалось, что контекстуальный подход дарит нам понимание, а современная культура — объяснение. Это представление приходится “перевернуть”. И это важный результат. Вероятно, это будет интересно не только для сообщества историков науки.

Очевидно, что включение историко-научных поисков в общегуманитарную методологическую проблематику приносит плоды, подтверждая давнюю мысль, что преодоление дисциплинарных границ — источник бодрящих интеллектуальных инноваций.

* * *

В заключение хочу вспомнить замечательную полемическую статью М.А. Бойцова “Вперед, к Геродоту!”, где показано, что и в гражданской истории настоящее, ориентированное в будущее, — тяжкий груз мировоззрения, которое сложилось под влиянием “прогрессистской идеологии”. Разве изучение истории нужно для предсказания будущего? “Предвидение не относится к числу даров Клио”, — предупреждает автор³⁹. “Прошлой оказывалось частью ведущей вверх лестницы, по которой мы успели уже пройти, а будущее — ее следующей ступенькой”⁴⁰. В рамках истории науки такое “прогрессистское” восприятие путей научного познания выражено чрезвычайно ярко: от Фалеса до Максвелла, скажем, и далее к глобальной электрификации — путь трудный (не “столбовой”), но совершенно однозначный.

Поэтика “открытого произведения”, признание полисемантической изучаемых письменных источников — это некое освобождение от тирании презентистского подхода. При этом, надеюсь, нам удалось отстоять значимость проделанной традиционными историками науки работы перед лицом увещеваний энергичного антикваризма.

- 1 *Latiour B.* When things strike back: a possible contribution of “science studies” to the social sciences // *British Journal of sociology.* 2000. Vol. 51. № 1, January/March. P. 107–123.
- 2 См.: *Кузнецова Н.И., Макашова О.В.* Проблемы методологии историко-научного исследования. Обзор дискуссии // *Вопр. философии.* 1974. № 7.
- 3 Назову только некоторые: *Кузнецова Н.И.* Наука в ее истории. М., 1982; *Она же.* Презентизм и антикваризм как методологическая дилемма историко-научных исследований // *Познание социальной реальности. Теория познания.* М., 1995. Т. IV. Гл. 18. С. 351–374; *Демидов С.С.* Презентизм и антикваризм в историко-математическом исследовании // *Вопр. истории естествознания и техники.* 1994. № 3; *Розов М.А.* Презентизм и антикваризм — две картины истории // Там же.
- 4 *Известия Николаевской морской академии.* Петроград, 1915. Вып. IV. С. VIII.
- 5 *Аверинцев С.С.* Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // *Древнерусское искусство.* М., 1975. С. 376.
- 6 *Лосев А.Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. Т. 1. С. 352.
- 7 *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 333.
- 8 *Лебедев В.* Электричество, магнетизм и электротехника в их историческом развитии. М.; Л., 1937. С. 14.
- 9 Цит. по: *Кудрявцев П.С.* История физики. М., 1956. Т. 1. С. 19.
- 10 См.: *Магидович И.П.* Очерки по истории географических открытий. М., 1957. С. 163.
- 11 *Физический энциклопедический словарь.* М., 1984. С. 139.
- 12 *Дорфман Я.Г.* Всемирная история физики. М., 1974. Т. 1. С. 216.
- 13 100 лет квантовой теории. История. Физика, Философия. Труды Международной конференции. М., 2002.
- 14 *Кун Т.* Структура научных революций. М., 2001. С. 24.
- 15 Там же. С. 16.
- 16 Там же.
- 17 Там же. С. 19.

- 18 Там же. С. 20.
 19 Рабинович В.А. Указ. соч. С. 38.
 20 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 350–351.
 21 Там же. С. 366–367.
 22 Цит. по: Ульянкина Т.И. Зарождение иммунологии. М., 1994. С. 58.
 23 Вальден П.И. Теории растворов в их исторической последовательности. Петроград, 1921. С. 7.
 24 Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1987. С. 29.
 25 Этот пример разбирался нами в совместной статье с М.А. Розовым. См.: Кузнецова Н.И., Розов М.А. История науки на распутье // Вопр. истории естествознания и техники. 1996. № 1.
 26 Бляхер Л.Я. Проблемы морфологии животных. Исторические очерки. М., 1976. С. 5.
 27 Там же. С. 14.
 28 Там же. С. 13–14.
 29 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 339.
 30 Там же. С. 344.
 31 Там же. С. 361–362.
 32 Там же. С. 358–359.
 33 Демидов С.С. Презентизм и антикваризм в историко-математическом исследовании // Вопр. истории естествознания и техники. 1994. № 3. С. 9.
 34 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 48.
 35 Эко Умберто. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.; М., 2005. С. 14–15.
 36 Розов М.А. Указ. соч. С. 22–23.
 37 Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М., 2008. С. 171–172.
 38 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 343.
 39 Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Историк в поиске. М., 1999. С. 154.
 40 Там же. С. 146.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

М.Р. Ненарокова

**“РЫБАК ВИТИН” ЛЕТАЛЬДА ИЗ МИСИ
КАК ПРИМЕР СРЕДНЕВЕКОВОГО
УЧЕНОГО ЮМОРА**

СОЗДАТЕЛЬ “РЫБАКА ВИТИНА” Летальд родился во второй половине X в. Большая часть его жизни оказалась связанной с монастырем Миси в Орлеанской диоцезе. Миси был основан около 501 г. св. Максимином и его престарелым дядей Евспигием с ведома и при поддержке короля Хлодвига и стал первым центром миссионерской деятельности на землях, позже образовавших диоцезы Орлеана и Ле Мана. К концу VIII в. монастырь пришел в упадок настолько, что его пришлось открывать заново. Сделал это Теодульф, возглавлявший Орлеанскую диоцезу в 790–818 гг., — приближенный короля Карла Великого и член придворной Академии. Теодульф получил от Карла под свое начало три монастыря диоцезы — Миси, Флери и Сент-Эньян, которые поддерживали между собой тесные связи вплоть до XI в. Таким образом, Миси, с одной стороны, был приобщен к культурной жизни своего времени, с другой — никогда не был обделен вниманием властей предрежащих. При повторном открытии монастырь, первоначально посвященный св. первомученику Стефану, получил еще одного покровителя — св. Максимиана, своего основателя и первого настоятеля. В новооткрытый монастырь братия была прислана Бенедиктом Анианским (750–821), чья деятельность в 80-е годы VIII в. положила начало монастырским реформам во Франкии. По этой причине в середине IX в. Миси стал центром церковных преобразований на севере страны. Монахи Ми-